

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

ISSN 0131-6044
9 770131 604002

РОМАН №5 ГАЗЕТА

Борис Евсеев / Вихорево гнездо





ЕВСЕЕВ Борис Тимофеевич

Родился в 1951 году в Херсоне, с 1971 года живёт в Москве. Получил музыкальное, литературное и журналистское образование. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Лауреат премий: Правительства России в области культуры, «Венец», «Литературной газеты», Бунинской, Горьковской, им. Валентина Катаева, им. Владимира Короленко и др. Произведения Евсеева неоднократно входили в шорт-листы «Ясной Поляны», «Большой книги», «Русского Букера». В советское время публиковался в Самиздате. С 1991 года печатается в ведущих литературных журналах: «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Континент», «Москва», «Нева», «Смена», «Юность» и др. Автор 20 книг прозы и нескольких сборников стихов.

На телеканале Культура вышел фильм «Борис Евсеев. Линия жизни». Телеканалом «Скифия» снят фильм «Борис Евсеев. Люди и судьбы» (в 2-х частях). Проза и эссе переведены и опубликованы на 15 языках. Б. Т. Евсеев — вице-президент Русского ПЕН-центра, член Союза российских писателей и Союза писателей Москвы.

Борис ЕВСЕЕВ СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

* * *

Я стал просыпаться от стука,
От внятной твоей трепотни,
Последняя в мире разлука
Перед постиженьем любви.

Так сладко ударит в лопатку
Отцовская горькая кровь,
Что бросишь хоть славу,
хоть шапку,
И выберешь вольный покрой

Коримого чёрного неба,
Густого, как ночью вода,
Ведущая мощно и нежно
Не знаю, не знаю куда.

Так скоро, сквозь трубы охраны,
Сквозь толпища веток и риз,
Сбивая навесы и брамы,
Летишь человечиною храма...

А руки оборваны вниз.

* * *

Кажется, осень. Воздух немеет.
Вынута слово. Скомкана
музыка.

Кажется, нету и крохи
сомнений,
В том, что рассказ мой
сплетётся и сбудется.

Краткая осень. Нет в языке
прощаний
Её прощанья скупей и летучей:
Тайно хлопочет в саду
половчанкой
На день украденной, кровною,
лучшей.

Грешная лирика в колкостях,
брызгах
Тянется к ней через слабые
грядки
И, разбиваясь о тело, искрится,
На полускрытых,
чуть дрогнувших ядрышках.

Как и гостила — сгинет
нечаянно.
Ловкие, тёмно-молочные руки
Выправят спицы, призвякнут
ключами...

Видишь ещё, как на пустошь
выруливает,
Сквозь восходящее пламя
печали...

* * *

Бесконечность. Россия. Пурга.
Хлеб философа. Нары с водою.
Закопают — и вся недолга!
Но пройдёт по сыпному покою

Кистепёрая, хваткая мысль,
С шейкой утки и глазом павлина,
Рассекая пространство зимы
На семь тактов, но три пуповины.

Мысль проснётся и дрогнет
гора!
Лопнут реки и вспыхнет
строкою
Бесподобного мира мура,
Что журчит и под мёртвой
корою.

Пушкин — зарево, пастбище —
Фет,
Скит — Флоренский,
Леонтьев — цикада,
Это наш стройно-слитный
ответ
На небесные слоги и такты.

Это вновь хомяковская ветвь
И толстовского купола сила
Заставляют все руды звенеть
В нашей почве кровавой
и стылой.

А ответом на мыслеразбег,
Отгоняя все споры, исканья,
К нам спускается с неба
ковчег,
Переполненный сладостной
тайной.

Не с того ли наш путь
и наш крест —
От иных крестопутий
отличный —
Напитал собой тысячи мест
И укрыл собой бездны
различий.

Окончание см. на 3 стр. обложки.



Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

Главный редактор
Юрий Козлов

**Редакционная
коллегия:**
Дмитрий Белюкин
Алексей Варламов
Анатолий Заболоцкий
Владимир Личутин
Юрий Поляков

**Ответственный
редактор**
Елена Русакова

Права
на использование
товарного знака
«Роман-газета»
принадлежат

ООО «Роман-газета»
© ООО «Роман-газета», 2024
Все права защищены

Журнал зарегистрирован
в Министерстве связи
и массовых коммуникаций РФ.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-68350
от 30.12.2016 г.

Подписаться
на журнал «Роман-газета»
можно в отделениях связи
и через Интернет:
roman-gazeta-1927@yandex.ru

**Подписные
индексы издания:**

в объединенном
каталоге

«Пресса России»

38915 на полугодие;

в электронном каталоге

«Почта России»

П1526 на полугодие

Точка зрения автора может
не совпадать с позицией
редакции

2024 №5 /1946/ Основана в 1927 г.

Борис Евсеев

Вихорево гнездо

Рассказы и повесть

Сухой Брод

Рассказ

1

Бешеный песчаный смерч рванул книзу застиранную занавеску, хлынул в оголившееся окно лунный дрожащий свет, только что поносивший её последними словами подполковник ещё раз крупно, всем телом вздрогнул и резко смолк...

2

Подполковник Гарай так и умер на ней. Умерло в подполковнике всё и сразу: заострился нос, в уголках губ проступила кровь, стали затягиваться мутно-развратной плёнкой, — как у выброшенной на сушу рыбы, — стекленеющие белки. И только мужское его непотребство (так звала она любимую Гараеву игрушку) продолжало упорно вздрагивать и сокращаться, вопреки смерти выплёскивая в неё жизнь, жизнь, жизнь! Всего подполковничьего тела она не видела: только, откинутую вбок, лохматую голову с русо-пепельными волосами, в лунном свете отдающими лесной зеленцой. Шевельнувшись — почувствовала: стал Гарай куда как легче! «Это душа его тяжко-грешная отлетела», — уговаривая себя, попыталась она из-под лешака Федыки, — так за глаза звали его подчинённые, — потихоньку выбраться. А не вышло: вдруг заверещал по-бабьи розовощёкий адъютант, послышались за окном обрывки английской и польской речи. Осенний ветер обрывки унёс, но совсем рядом, в предбаннике, треснул пополам голос майора Горового: «Знов розпуста! Та йду я, йду!» Она замерла и решила переждать: пусть все и сразу увидят, от чего умер Гарай.

Остывшая к рассвету халупка, приспособленная под баню, враз наполнилась кашлем и голосами. Но страха голоса не вызвали. Только любопытство, которое она от чужаков, сбежавшихся на крик адъютанта, всегда наблюдавшего за ними в щёлку, умело скрыла. Адъютанта Гараю иметь не полагалось, однако, наперекор всем, он дурашливого пацанёнка приказом своим назначил: для игры в поддавки и трепотню про баб.

В последние годы ей казалось: чем больше у тебя мужиков — тем круче взбурляет жизнь. Любила, однако, не их: себя. Даже сейчас, позабыв про окочившегося на

ней мужика, начала полегоньку бока свои ласкать, оглаживать. Может, и поэтому смерть лешака Федьки вдруг перестала волновать. А может, и потому, что был подполковник тем ещё отморозком: раненых москалей кончал без раздумий, а одного своего, такого же, как и сам он, скупердяя-западэнца из штурмовой роты «Карпатская Сечь», в расположение их части попавшего случайно, закопал живём. Для войны Гарай, как ей думалось, годился мало: был нерасчётлив, криклив, но в остальном, хоть и староват, а цепок, подвижен, иногда — ребячливо-добр.

Дальше разговоров дело в халупке не шло. Она прислушалась. «...z kurwa zaporoska nie poradził sobie, psia Krew!» «Так. Sprawa kępska, panie Wołodzimierzu». Два поляка, словно со сквородки на сквородку, перекидывали свои шипяще-скворчащие слова, исподтишка поглядывая на молчаливого штатника: анцыбала с чекмарями для утрамбовки земли вместо рук. Тут, ещё раз вильнув перед чужаками хвостом, снова стал залиvisto вскрикивать адъютант: нежно-изгибистый, сладко-пухлый, но к женско-мужской любви абсолютно не склонный.

— Дав дуба, а всё не вгамується! От сиськохват так сиськохват! — стаскивая с неё Гарая, восторженно пыхтел адъютантик.

Поляки от бабы, освобождённой из-под трупа и не враз сомкнувшей раскинутые ноги, дружно отвернулись, а штатник продолжал неотрывно наблюдать мёртвое, но всё ещё твердокаменное Гараяево хозяйство. Это — спасло. Пока анцыбал немел от восторга, а поляки в силу своей шляхетности и неприязненного почтения к бабам (даже к «украинским подстилкам», как они в разговорах меж собой их называли) стояли лицом к стене, она, завернувшись в пупырчатое рядно, дала дёру.

— Bury him, and then her, — сказал штатник. А для адъютанта повторил по-русски: — Закопайте его, потом её.

Стёртый до дыр голос пожирателя падали, неожиданный в превосходном семипудовом теле с руками-кувалдами, лишь подстегнул беглянку.

3

Резкие перемены на Херсонско-Криворожском участке фронта застали её в Высокополье, куда приехала выправлять справку о смерти деда. Русские войска ушли ночью 3 октября, когда она спокойно спала у подруги. А уже наутро Высокополье заняли древние укры. Она тогда сразу кинулась назад, в Сухой Брод и, к удивлению, спокойно туда добралась... Теперь Высокополье осталось за спиной. Нужно было опять пробираться на юг, в Сухой Брод, где деда и схоронила. Дозарезу требовалось забрать из осиротевшего дома бумаги и кой-какие вещи. Вырвавшись из цепких лап лешака Федьки, в дедов дом она и направилась. И тут же из далёкого далека стали палить московские. Поляки с америкосами стали отвечать. Снарядов и ракет Горя — полное имя Го-

рислава усекли ещё в детстве — не боялась, считала себя заговорённой. А вот пить хотелось сильно. Встав на носки, сорвала несколько ясеневых, ещё сочных листочков. Пожевала, выплюнула. Ясень горчил. И сразу же укры полоснули по ней автоматом, а потом запела и ухнула за спиной мина. Тут она рядно и скинула: «Ну, может, хоть в голую бабу стрелять не станут!..»

Первый раз таким макаротом Горя сбросила одежду и взошла на помост ещё в четырнадцатом году, на одном из Николаевских майданов. Ей тогда только минуло двадцать, и посмотреть было на что: хлётская, высокая, с молочно-смуглой кожей, тонкокостная, но и полновесная в груди и бёдрах, манила она к себе мужиков неотступно. Но тогда одежду скинула не для завлечухи, а чтобы напугать и оповестить. Правда, на том майдане сбились в кучу люди с проштемпелёванными мозгами и предупредить их голым телом о близкой войне не удалось. Но сильно тогда и не материли: видно, память предков о древнеславянской Белой Бабе, предвестнице войн и разрух, сидела в них крепко.

И сейчас, в первые, удивительно тёплые ноябрьские дни, Горе опять подумалось: «Пусть, хоть сегодня до тех и до этих дойдёт: это нескончаемая война, обернувшись голой бабой, сквозь них сейчас пропутешествует! А вслед за войной раскинет перепончатые крылья дух несчастливой судьбы, которая заставит их зарыть перед солдатскими казармами и офицерскими клубами свежеструбленные кобыльи головы, вывесить на воротах частных домов и под козырьками многоэтажек сияющие синевой стальные резак и косы, густой можжевельный дым затянёт глаза слепым и зрячим, и в том дыму растворится Белая Баба, а вместо неё падут на людские плечи золотисто-коричневые соколиные перья, и пораненные в страхе губы сами собой заклеются камышовыми тонкими плёнками!..»

Русских регулярных войск рядом давно не было, но разведгруппы просачивались. В кого укры стреляли сейчас, в неё или в них, было неясно. «Может, по самим себе сдуру лупят». Но тут же мелкую стрельбу отнесло к северу. Да и кончилась она быстро. В ход пошли «Хаймерсы», а отвечали им русские «Грады» или другие ракетные установки, названия которых она не знала. «Ни хрена теперь от Гарая и поляков не останется», — подумала равнодушно, но ошиблась. Разрывы ракет и снарядов вдруг стихли. Минут через десять, близ воды, у самого Ингульца, кто-то из украинских военных ни к селу ни к городу загорланил: «Горілка добра, річкою льється, до кумы моргаю, а кума сміється».

Странная эта война то бесила её, то тешила. Русские всеми своими гаубицами пользовались вроде без особой охоты, а украинцы, особенно новобранцы, как только кончался огонь, ползли за самым, нюхали и жевали осеннюю, хорошо просушенную и мелко растёртую коноплю или, перевернувшись на спину, тихо пускали слезу.

4

Сова-Ulula голую бабу решила снять одной пулей: слишком уж крутобёдрая! И грудь несёт, как торчащие острыми концами булки-франзольки на прозрачных тарелках. Она прицелилась, но тут же тронул за плечо напарник. Сказал по-русски, потом по-латыни:

— Не слышишь? Grave bellum! Могильный колокол где-то ударил. И голая баба на холме не к добру. Она предвестие войны тяжкой, бесконечной. Ad eum transire. Пусть уходит.

Ulula едко рассмеялась. Подумала: если ей так вот, в чём мать родила, пройтись по степному мелко-лесью, напарник от счастья, скинув маскировку, побежал бы за ней из «засидки» — так называл командир-поляк их камышовое снайперское гнездо — без всякой оглядки на москалей и укропов. Бабу эту она видела у подполковника Гарая. Даже с ней поцапалась. Но тогда не стала сильно светиться, ушла на позицию. Глянув на своего напарника-наставника, прикинула: кто он? Грек? Итал? Непохоже. Тот, как почувствовал:

— Я есть Freischütze, вольный стрелок. Давно снайперю, — выкашлял он, — с начала 80-х. Когда немецкая «Фракция Красной армии» в Рамштайне напала на штаб-квартиру американских ВВС. Тогда взрывом покалечило больше тридцати человек. Потом волчатником был. Но ни клыком, ни пулей за все годы волк или человек меня не достали.

Сова Ulula хмыкнула и словам этим не поверила, хоть и знала: её куцехвостый птичий инстинкт, несравним с волчьим чутьём напарника. Но всё равно возразила:

— Сорок лет? И жив-здоров? Так не бывает. Прикалываешься ты, что ли, шутер хренов?

— Бывает, совушка, бывает. И знаешь почему? — Он на минуту замолк, обозревая местность. — Из-за крови. И запомни: я не есть шутер хренов. Не есть ангел смерти или «голдострел», как думают о себе некоторые снайпера, что играми детскими забавляются. Хочешь знать, откуда такой позывной «Аромун»? По крови — я волох, влах. По-книжному — аромун. Мы, волохи-аромуны, природные вещуны, всегда знаем, что впереди.

— А тогда расскажи, Аромунчик: что со мной станется?

— Не хочу. И бабу голую с прицела скинь. Тебе её не достать. Как бы наоборот не вышло. Может, она и вправду — Белая Баба. Есть такая в славянских поверьях. Кто её тронет — мёртвым при жизни станет. Так что берегись, Совушка!..

— Не каркай, Аромунчик! Тоже мне вещей врон выискался. Ты, — как это лучше по-русски, — дальнобойный палач и больше никто!

Она снова приложилась к прицелу. Левое, совиное, словно чуть обожжённое веко, дрогнуло. В тот же миг перед степным невысоким курганом прямо у ног Белой Бабы разорвалась свето-шумовая граната. Потёк дым, Ulula чертыхнулась.

— Всё равно её достану. Знаю, куда пойдёт. Подслушала, как адъютантик Гарая докладывал: у неё в Сухом Броде дом наследственный. Там и достану. One-shot — и её нет!

— Думаешь взяла себе латинский позывной, и не узнают, что ты из Красноярского края?

— Ну из Красноярского. Только я никакая не русская, я латгалка.

— Ладно. Я в курсе. Раскудахталась тут. Карауль свою бабу. Я тебе не партнёр сегодня.

— А как же приказ?

— Плевал я с высокого дерева на такие приказы. Твердят: появились подозрительные бабы и дети. Уничтожать их как диверсантов. Только не диверсанты они. Их потом — на органы!

— На органы? С чего ты взял?

— Гарай проболтался. То ещё трепло. Он в этом деле, как говорят русские, долю имеет. Две «Швыдкі допомоги», когда в Снегирёвку, в штаб ездили, видела? Ждут они нашего свежака. Чтoб тело, не порванное взрывом, не сожжённое огнёмётами им доставили. Ждут снайперской чистой работы. Шпок — и селезёнка с печенью прямо в контейнер шлёпнулись. Шпок — и женские здоровые яичники им в холодильник! Детские и женские органы — такой заказ пану Гарая на осень и зиму поступил. Ты думаешь, зачем нас, снайперов, в тылу держат? Как раз для этого дела. А так бы давно на передке очутились. И бабу твою до сих пор не застрелили, потому что Гарай её на органы продать продал, но хочет, как тарантул, до конца высосать. Так-то, Ulula моя красноярская!

— Ты что-то совсем по-русски заговорил, Kamerad.

— Я и думать себя приучил по-русски. Бью врага и прохожу у него обучение. Обучаюсь и снова бью. Но, похоже, не того врага выбрал. Ты думала, мы тут с путинизмом воюем? Мы за органы бьёмся! Они покруче политики. И подороже. Увидимся, совушка. — Аромун погладил свои огромные, но не висячие, а словно бы распластанные по щекам усы...

5

Гориславе вдруг послышался плеск воды. «Родник в степи? Откуда? Быть того не может. Просто звенит в ушах...» Но родник был, родник пел. Из-под развороченной взрывом кочки тихо выплёскивала и уже образовала крохотное озерко нечастая в этих местах вода. Пороховой запал ноября, готовый взорвать и себя, и всё вокруг, вдруг перекрыла эта малая вода, дышащая ровно-спокойно, как дитя, не знающее о прилётах, осколках, взрывной волне. Горя прислушалась. В небе, над сухим ноябрём, тоже царствовала, плескалась, но никак не хотела пролиться всеисцеляющая вода. Горя присела, ополоснула грудь и плечи влагой. Потом опять распрямилась и медленно взошла на другой, ещё не развороченный снарядами курган. Гусиная кожа (не от холода, от нервно-

го ликования!) внезапно покрыла всё тело. Невыражая нежность к покрытой пупырышками коже заставила сладко вздохнуть. Белая Баба, которой на часок она стала, раздухарилась не на шутку. Баба толкала найти курган повыше, предостеречь покруче, так, чтобы обволакивающий, с хрипотцой голос беглянки, слившийся с громовым голосом Бабы, потопил баржи с оружием, заглушил танки, вобрал в себя звуки степей и стал единым голосом освобождённой от войномирья, неистребимой любовной страсти!

6

— Ты гля, Грышко, знов гола дівка на горі. Стоїть, нє тікає! Памятаєшь як у дытынстві казали: на нас напала гола дівка!

— Тю. Дурэнь. То ж про голодовку, про голодомор так казали. Ты меньш по сторонах розглядайся! Цэ москалі, шоб голову нам задурьты, кіно здалэку пускають. Ну, такэ лазерне кіно, шоб прямо у повітрі показувать то, чоґо нэма...

— А ще кажуть, то Біла Баба, або ж сама війна на курганы виходить, шоб мы знали: не буде війні тэпэр кінця і краю.

— Мовчи. Через місяць наші у Москві будуть. Або ж на Кубані. Тоді й війні кінець. Тоді мы з цією Білою Бабою як слід побалакаем...

7

Ночью, укутанная в рядно, вздрагивая от слегка подмерзающей осени, в Сухой Брод Горя и вбежала. Дверь в дедов дом была распахнута, но внутри никого не было. «Нечем разжиться... Не позарились...»

Деда она похоронила больше месяца назад. Первого октября нарочно примчалась сюда из Херсона, чтобы сделать всё по-людски. Сухой Брод был тогда ничейной, серой зоной. И теперь, вспоминая те дни, отогрившись как следует под двумя одеялами, отыскала в дедовой хате рюкзак и свой же припрятанный перед поездкой в Высокополье планшет. Осмотрев планшет, поменяла в нём батарейки. «Китаец», к удивлению, заработал. Устроившись на дощатом топчане, новостей читать не стала: за окном с урчанием и свистом, как избегавшийся по помойкам пёс, задышал минувший октябрь...

Девятого октября, после поминок, перед самым рассветом в окно стукнули. Быстро зарыв планшет в ворохе тряпья, крикнула: кто там? Ответа не было, звякнул железный крюк, дверь распахнулась, вошли трое. Эти трое, заходившие в Сухой брод для неизвестных ей целей, к подполковнику Гараю её и доставили. Российский паспорт, полученный ещё в августе, она — как чувствовала! — перед поездкой на похороны зарыла в Херсоне. А вместо прежнего, с трезубцем, была у неё справка о том, что украинский паспорт утрачен. Тот месяц пролетел в один пых. Обещали расстрелять — не испугалась. Отдали Га-

раю — согласилась. Стали гнать по призыву в армию, клялась подумать. Да и Гараю так сразу не отпустил бы. Зачем-то он к ней потихоньку присматривался, что-то с ней хотел сотворить. Подполковничьи взгляды исподлобья — замечала, но, что они означают, понять не могла. Теперь, после бегства от мёртвого подполковника, забрав домовые документы, прихватив бабкину прозрачную кисею и дедовский жатвенный нож-серп, наметила маршрут и кое-как одевшись, не дожидаясь рассвета, двинула к Херсону.

8

Шествие Гориславы по полям, по бездорожью, по тепловатому днём, а ночью колко-холодному песку, сквозь лесопосадки и сухостой никто не хотел или не мог остановить. Она шла, выдавая себя то за сбрендившую с ума, то за прорицательницу, то за Бабу-войну, то за Белую Бабу. Перед Тягинкой снова взобралась на курган, продела голову в прозрачную кисею, в правую руку взяла валявшийся близ дороги вывернутый снарядом из могилы, синий от глины череп. Но потом череп отбросила в сторону, достала из рюкзака старинный жатвенный нож. Так, провожая редкие БТРы и ожидая, пока тучи закроют луну, с серпом в руках она и стояла, пока с одной из БМП её с хохотом не обстреляли. Скатившись с кургана, вывалялась в расчавканной грязи, но поднялась наверх снова. Её ещё дважды проверили, правда, с собой не увезли и особо не трогали. Кто-то из офицеров или солдат всегда с опаской произносил: «Нэ чіпайте її. Бачите? Божевільна вона...» Тогда же, перед вечером, рядом разорвался снаряд, она поняла, что стала пристрелянной целью, и, спустившись с кургана, повернула обратно на север: южнее Тягинки уже были выставлены укро-кордоны. Быстро сообразила — нужно в Берислав! Там переждать, там обдумать: что дальше? Степь, ещё не отдавшая до конца тепло, отзывалась под ногами таинственными пустотами. Повествовательное сопровождение жизни, рождавшееся внутри, наполняло беглянку новой силой, выплёскивало странные образы, доводившие до невероятной радости. Огоньки живой человеческой страсти, струимые сквозь рождённую войной поляувь, блуждали по оцепеневшим полям Новороссии. Она их видела, чуяла и наслаждалась; как наслаждаются в детстве мерцающими гнилушками и светлячками... К Бериславу подходила Горя одетой и отдохнувшей. Вдруг что-то остановило.

9

Рыбы!

Рыбы небесные плыли косяком по синей эмалированной тверди: из Высокополья, через Дудчаны и Тягинку к Херсону. Впереди осётр-рыба, за ней — поменьше: краснопёрки, ротаны, плотва. Это были не «сушки», не вертаки, не повредившиеся в про-

граммных расчётах дроны, представшие перед раздражённым зрением рыбами небесными. Это и впрямь были огромные рыбы: блестящие чешуёй, с чуть отвисшими сизо-алыми брюшками и при этом сильно походившие на людей. Ног-рук у рыб, конечно, не было, но уж больно хари их напоминали людские лица! Смутные рыбы полуулыбки внятно говорили: внутри у них не икра, не молоки, а людские души, перевозимые из земных сборных пунктов в пункты сбора небесные. «Мать — сыра-земля на рыбе покоится. Вот рыбы небесные и пособляют рыбе, удерживающей Землю. Про что бабка Настасья всегда и рассказывала», — успокаивала себя Горя. Но успокоение не приходило. Возросло лишь окрепшее после похорон деда желание: жить затаённой, но яростной, с неслыханными авантюрами и притом молниеносной жизнью. Возбуждение гнало вперёд: быстрее, круче! Из пригожей научной сотрудницы небольшого химзавода стала она превращаться в ненасытную лаборантку, ищущую нечто в этих местах запретное: в стволах колодцев, в продолговатых посудинах озёр, в прозрачных кубах отграниченного опорамии электропередач степного пространства чувялся ей временно канувший на глубину русский дух. Вместе с медленным ветерком, — а может, и со святым духом, — мягко катившим свои туманы над изрытыми войной степями — возвращалась к ней утерянная под Гараем сила, входила жёсткая и весёлая уверенность в своей правоте. Порезав ногу под Тягинкой — обула высокие американские ботинки-берцы, которые отыскались в одном из сараев разнесённого в щепу придорожного хутора. «Как на меня шили! Ножка-то у чужака была махонькая, корейская!» Набрела она по дороге и на разбитое, новенькое орудие. Рядом, в одном из раскрытых металлических ящиков обнаружилась маскировочная сеть из белых, мелких, всего с ладонь, лоскутов. Орудийщики готовились к зиме, но до зимы не дожили. Бросив испачканную и уже кое-где рваную бабкину кисею, жатвенным ножом откромсала кусок маскировочной сети и, закутавшись в неё поверх одежды, пошла дальше по оставленному одними и не до конца занятого другими простору.

Под Бериславом стало лесистой. Пошли лощины, мелкие и покрупней овраги-балки. Было где заночевать и даже обогреться в какой-нибудь из пещер, выдолбленных в ракушнике. Горя снова передвинула взгляд от лощины на небо. Рыбы небесные продолжали плыть на Бургунку, на Отрадокаменку, на Казацкое, всё заметней смещаясь к Херсону, к Антоновке... «Началось? — на миг прикрыла она глаза. — Конец света, что ли, настал?» Когда глаза сами собой открылись, рыб небесных уже не было, а вот багряный закат, обещавший на завтра сильный ветер и немалую кровь — тот остался.

В трёх-четырёх местах продолжала полыхать уже подмерзающая по ночам степь. «Холода Скифии пылают жаром веры», — вдруг припомнилось из институтского курса. Древний стих искривил рот, пере-

дёрнул проволочной дрожью. Захотелось стих резко поправить: «Жаром обмана и верой в ничто, Скифская степь теперь полыхает...»

Из лощины дохнуло сыростью. Ещё раз передёрнув плечми, двинулась Горя к наполовину скрытому ольшаником и кустами бузины углублению. Но тут же упала наземь. Из лощины донеслись голоса.

— Давай быстриш!

— Так им таперя спешить некуды. Начальству нашему тож. Вечерком запустят в ноздрю коку — и давай молотить ракетами по степям и озёрам!

— Не болтай, копай глубже.

— Щэ мудохаться тут з мёртвякамы, а там усю водяру выжруть.

— Ладно, чуть привалим, и хорош. Лисы и шакалы дело докончат.

— Звидкіля тут шакалы?

— Из Аскании Новой, из заповедника сюды добёгли. Видели их тут. И вчера, и позавчера... — Вурдышты Кишинэв. Радио дэ сэра. Баста! Руманэшты не дурной, на каруцу и домой!

Голоса стихли. Повременив, осторожно выставилась из-за кустов. Подошла ближе. Брошенных в яму мертвяков прикидали землёй, прикрыли ветвями. Под беременной, выкатившей жёлтое пузо Луной первым делом увиделся сгусток гноя и крови под носом у трупа в российской форме, лежавшего поверх других. Толстый слизень уже прилепился к продырявленной в двух местах безглазой голове. Вдруг на глубине раздалось кряхтенье, затем стон. Горя попятилась. Кто-то жив? По сипу и кряхтенью поняла: жив, жив!.. Раня пальцы о корни и сучья, откопала то ли мужика, то ли подростка. Стала рассматривать: маленький, криворотый, сорокалетний, в украинской полевой форме, веки схлопнуты, лысостриженный. Дотащила до пещеры — криворотый очухался. Поздней ночью, уже вдвоём, сняли с мёртвого штатского ботинки, брюки и джемпер, криворотый содрал с себя украинскую форму, переоделся. Прошло полчаса. Криворотый молчал. Потом вдруг встал, двинул в лесопосадку и вмиг пропал.

10

— Не хочу такой воли! — услышала Горя и враз проснулась. — Не хочу-у!

Над ней, потерявшей во сне ощущение часов-минут, забывшей, куда и откуда идёт, — наклонился криворотый.

— Не хочу! Сечёшь? Свои, свои меня закопали! Волю дали, волю взяли... Не хочу, не буду!

— За что они тебя так? Ты ж ихний.

— За то, что пацанку-шестилетку пожалел. Неудобно им рядом со мной после этого жить стало. Токо спешили они сильно. А я, когда расстреливали, грохнулся со всего размаху. Аж земля зазвенела. Подумали — готов. Им на меня — тьфу! Я ж смертник пожизненный. Из тюрьги на войну выдернутый. Выпустили, дали автомат. Иди, мочи москалей! Токо

не сладилось у меня это дело. Ну, когда всех подряд, и гражданских тоже, валить надо. На воле двоих за милую душу пришел. Без армии — мог. В армии никак. И шо за армия у нас теперь, я тебя спрашиваю? Накормили свинью солью, дали выпить три ведра воды, бока у свиньи раздулись, как бочка, того и гляди, лопнут. Так и наша армия. Всё. Пойду я.

— Тебя как зовут?

— Секарь.

— А по-настоящему?

— Имечко тебе на хрена? Я тебе не базарило. Не хочу святое имя в грязи вываливать.

— Малахией, что ль, назвали?

— Ну, почти: Яремой.

— Ладно: не хочешь быть Иеремией — будешь Секарь. Так ты, Секарь, хоть потискай меня наполедок! Любовь и война в одной упряжке идут. Чем круче война — тем сильнее любовь разрастается: к дереву, к слизю, к яме расстрельной.

— Не. И тебя не хочу. Бреешь ты про любовь. Из меня война, всеми нами втихаря боготворимая, всю душу вытрясла. Хоть у вас, у профур, может, всё по-другому.

— Куда пойдёшь?

— Назад подамся. В Бердичевскую исправительную колонию № 70 пробиваться буду. В отдельный сектор. Там пожизненно заключённых держат. Или в российскую тюрьму — если на левый берег переберусь — проситься буду. Смертник, он в камере поильней вас, вольных, к жизни прикасается. И вообще: особые люди смертники. Одни мягкие, как манка на молоке. Другие поёстче акациевых колючек будут.

— Не ходи в тюрьгу, Ярема! Здесь время, тебе отпущенное, как-нибудь протянешь.

— Не. В тюрьге время по-другому стучит в темечко. Каждый миг на счете: вдруг дело пересмотрят? Скосят срок. Или амнуха выйдет. В тюрьге надежда подскакивает аж до неба. А воля теперь — хуже неволи. Так и прокурор Холодняк говорил: «Преступными помыслами жизнь на воле под завязку набита, пан Ярема». Вот и вижу: тут у вас, в какую дырку ни глянь, — одна война! И шо она такое, теперешняя война? Игрище для заправил, кишки на заборе для подневольных. Ну, прощевай. Дорогу знаю. Сама теперь куда?

— В Херсон.

— Так там уже, наверно, ВСУ. А ты — призывная.

— Знаю, только чую, не призовут меня. Всё по-другому будет.

— А документ у тебя есть?

— Российский — в Херсоне. На Сухарном зарыт. Поддельный — у подполковника Гарая остался.

— Значит, опять под командира ляжешь?

— Я тебе не подстилка! Что было, то было. Может, выкручусь. Ты пойми, Секарь: я хоть и знаю, что будет, но до полной ясности это дело никогда не довожу. Великое незнание меня будоражит и горячит, как ту солдатку перед ночной любовью! Чем больше

любви, тем меньше страху. Ты вот никого не любил, потому и жить на воле не приспособлен...

— Заткнись, алюра. А то сам тебя заткну. — Секарь пошевелил клоунскими, словно бы накачанными силиконом кистями рук.

— Так ты попробуй! — Хохотнув, выдернула из соломы припрятанный жатвенный нож.

— Ладно, кончай костопыжиться. Пропадёшь ты без документа. И до Сухарного тебе пешедралом не добраться. Жди здесь. Пока ночь — стоняю в Берислав. Вдруг в канцелярии бумаги погибших найдутся. Я там пару раз на часах стоял, видел, куда такие бумаги складывают. Может, что подходящее для тебя найду. — Секарь быстро натянул на себя украинскую форму, отвалил в ночь.

11

Писарь Омеля спал под включённой светодиодной лампой. Мертвящий свет разливался по комнате, заполненной компами, мешками с бумагами и рассыпанной по полу канцелярской дребеденью. Вдруг — скрип-поскрип, скрип-поскрип! Омеля поднял голову.

— Ты откуль, Ярема? Тебя в списках нэма, нэма! Расстреляли тебя, голубчика. А ну геть в пекло!

— Так это... Я мёртвый к тебе и явился, шоб правду вытрясти: хто на меня настучал, шо я пацанку пожалел?

— Не я, Христом Богом клянусь! Колька Варнаков нашепнул пану сотнику!

— Бреешь. Кольку тоже расстреляли, от и वालीшь на него.

— Вартовый! — булькнул горлом Омеля.

— Часовой уже на том свете. Горилку из хрустальной чарки себе на темечко льёт. Значит, и тебе — пора.

Омеля метнулся к окну. С правого боку, мягко и бережно засадил Ярема заточку в писареву печень. Медленно осел на некрашенный пол Омеля...

Стало светлеть, и костерок почти прогорел, когда Секарь вернулся.

— Нашёл тебе документ подходящий. Справка — ого-го! И с фоткой. Баба, конечно, хуже тебя личиком. А всё ж таки с тобой схожа: длиннолицая и курноса.

— Тебе за красивые глаза бумагу отдали или как?

— Как, как. Пришлось часового и Омелю-писаря успокоить... Ты говорила, согреешь. Давай. Может, в последний раз.

— Ещё как согрею. Забудь про писаря, залезай под солому!

12

Три часа назад, дзенькнула мобилка, высветилась почта. Прилетело с незнакомого адреса письмо: «Если ты сын Тимофей Ивановича — ответь». После кратких раздумий ответил: «Да, сын». Последовало новое

письмо. «Адрес твой знаю. Заходить не буду. Через час в «Хинкальной» на трамвайном кругу. От тебя четыреста метров. Привезла тебе отцовскую вещичку. Зовут меня Горя (Горислава). Я из Херсона. В Москве — проездом...»

Без всяких приветствий она сразу выложила на столик тёмно-вишнёвый старинный мундштук. Мундштук и впрямь оказался отцовским. Я хорошо помнил монограмму и два небольших клейма на конце мундштука. Получил его отец в подарок, в Восточной Померании, в начале 45-го. В день, когда я родился, отец бросил курить. Но мундштук всегда носил с собой, считал оберегом. Говорил, что мундштук дважды спас его, сперва на войне, потом, когда работал директором Дома народного творчества в самом конце 40-х, на Западной Украине, в Дрогобыче. В начале 70-х я переехал в Москву и про мундштук, ясное дело, забыл. С подозрением глянул я на Горю-Гориславу.

— Откуда он у вас?

— У деда нашла. И фотку батяни твоего с надписью, — сразу и решительно перешла она на «ты», — и открытку аж 78-го года, про то, что сын его писателем стать собирается, а он всегда хотел, чтоб ты музыкантом был. Ну, и всякие там пожелания. Дед говорил: батяне твоему он по гроб жизни обязан. Оттащил его Тимофей Иванычу от цистерны с вином, в Мелитополе, в 43-м. Спас, короче. А то б дед, как и некоторые другие солдатики 51-й армии, с превеликой радостью утуп в той цистерне. После госпиталей опять они встретились. Во время Данцигской операции. Дед мне по ушам этой операцией сильно поездил. Там он мундштук и надывал. И в честь мелитопольского спасения батяне твоему подарил. Вещь дорогая, старинная. Короче: держи при себе, заместо ладанки тебе будет.

Говорила она грудным, хрипловатым, едва ли не гипнотическим голосом. Подростковый наив вкуче с властной женской опытностью чуть смешил, но и убеждал. Звук голоса, минуя сознание, входил прямо в кровь. На левой щеке при улыбке призывно углублялась ямочка. Обильная проседь, покрывшая каштановые, уложенные короной волосы, и юное лицо с выставленным задорно кончиком носа толкали спросить о возрасте.

— ...а мамка моя, почти сразу, как я появилась, померла. Всё гладила перед смертью по головке, кручинилась, что дед Гориславой назвал. А чего кручиниться? Горислава — дед сто раз объяснял — не от горя, а от горячей славы произошла! Горящая слава я! Понял? Что смотришь? Ямочкой моей залюбовался? Так это ангел меня в левую щёку чмокнул!..

В «Хинкальной» Горе не сиделось. Её неотступно влекла страсть к приключениям. Это чувствовалось в каждом взмахе ресниц, в безотчётно-радостном потирании явно не перетруженных совком и лопатой ладошек. Стало ясно: жить без смертельно опасных историй Горислава просто не может. Какое-то вмиг увлекающее собеседника возбуждение чуялось

в её словах, некая скрытно бурлящая, даже, как показалось, биохимическая энергия, вкуче со склонностью к весёлой жертвенности проскальзывала!

— А давай под землю спустимся? Ты не бойсь, я метро имею в виду. Поехали, снимаем! Я тут одного начальничка вчера обаяла, так он мне на станцию, ещё не работающую, пропуск выписал. У тебя какое-никакое писательское удостоверение имеется?

Я ошалело кивнул. Думал, Горя замолчит, чтобы я смог переварить всё, что за полтора часа она рассказала мне о войне сегодняшней, о войне грядущей... Но она не унималась.

— Ты вот скажи. Тебе жить хочется для чего-то? Или просто так хочется?

— Конечно, для чего-то. Просто жить — уже запалу нет.

— Вот, и я такая же! Ты думаешь, я сюда прятаться приехала? Лопушок! В куче я и правда действовать не хочу. Хочу отдельные задания выполнять, — она зачем-то мне подмигнула, — ну, как твой батяня. Дед говорил, Тимофей Иванычу в штабе всегда отдельные задачи определяли. Или ты думаешь я бесчувственно за обеими воюющими сторонами отсюда, из Москвы, наблюдаю? Нет, лопушок. Наблюдать я, конечно, наблюдаю. Но как раз потому, что я сама баба-война и есть. И раз я тут, то и война... — Она вдруг резко себя оборвала.

— Что-то темнишь ты. Тебе что, всё равно, что у вас там, на юге, творится?

— Старый, а глупый. Кабы всё равно, я б с ляхами и америкосами осталась. А я... Я ещё прошедшей весной почувяла: новая жизнь для меня начинается. Поверила: поможет Россия жизни наши перевернуть и двинуть к высоте. И тут — на тебе! Сдали Херсон. Всё с ног на голову перевернулось и смысл для меня утеряло... Но я тебе не авантюра ходячая! Я за Русь — горой. За воздухом Руси переплыла на Левобережье, потом сюда примчалась.

— 3-з... За каким воздухом?

— А за таким. Дух земли — и есть истинно русский воздух! Дух святой — он дышит где хочет. И слышишь его голос, а не знаешь, откуда приходит, куда летит. А русский дух он из земли нашей исходит и всегда над ней витает. Вот почему зёмли, когда-то бывшие или опять ставшие российскими, возвращать надо! Тут я духом земли надышусь, пробы воздуха — она ладошкой рассекла слово надвое — возму, в колбы и склянки медицинские запечатаю, в лабораториях проверю. А там — и за саму Русь встану! Я ж этнобиолог, Гидрометинститут кончала. И учти: встану я за всю Русь! За Московскую, Белую, Галицкую, Карпатскую! За Волынскую, Малую, Червонную, Угорскую, Херсонскую!

— Что за дикие фантазии? Что у вас там, своего земляного духа нет?

— Дух земли не фантазия. Дух этот — суперская форма для соединения земных и небесных сил. Вода гасит огонь. Огонь кипятит воду. Земля сдерживает воздух, но пропускает сквозь себя эфирный ветер.

Сам эфир — то ласкает, то разъедает землю. Соприкосновения эфира, земного воздуха и суши Дух Земли и рождают. Понял? Дух проникает всё, что внутри земли и поверх неё. Только не думай, что я сейчас тебе про гномиков и эльфиков петть буду! Дух русской земли — зашибенная сверхстихия. Что уже почти и доказано.

— Кем же... Кем доказано?

— А хотя бы мной! Дух Земли, совместно с духом эфира, при главенстве Духа Святого, всё сущее и сотворили. Вот оно как, лопушок. Ну, похвали меня! Здоровски я придумала, пока к столбу привязанная стояла? Ты пойми! Дух Земли и Дух Руси — можно химически определить. Ну, а киево-польской воздушной нёруси я ещё в четырёхнадцатом году наглоталась. А у вас тут Дух Питера ещё оставаться должен. Там склянку заполню. Вторую — в Смоленске. Вдохнуть хочу смоленского воздуха, как Григорий Александрович свет Потёмкин вдыхал. После вернусь — и в Радонеж! Дух преподобного Сергия в колбочку запечатаю — и опять в Новороссию. Дикий крутняк там зреет. Может, тогда и я помогу чем-то...

— Туда, потом сюда. Прямо какой-то бесконечный поход к пределам государства, какой-то, право слово, анабасис с тобой приключился.

— Ты словцом греческим меня не пугай. Знаю, учила. А восхождение или нисхождение к пределам государства, где зреет всё новое и небывалое, — так это ж поход к пределам твоего и моего внутреннего пространства! Ты думал: широка страна моя родная — и всё? Не то, не так! Это сам ты на десять тысяч вёрст нутром своим расширен и навсегда протянут!.. — Выходя из «Хинкальной», она остановилась поправить ботиночек и незаметно оглянулась. Легкая дрожь исказила чуть удлинённое с ямочкой на левой щеке лицо. Но тут же, как ни в чём не бывало, обогнав меня, двинулась она к станции «Нагатинский затон».

13

— Кто сюда эту дуру пустил?

— Не шуми, Зотыч, звоночек сверху был. Прямо с утра. Имя-фамилию назвали и приказали пустить для осмотра и репортажа о почти полной готовности станции.

— А это что за белая борода с ней?

— Тоже из пишущей братии: то ли письменник, то ли журналюга.

— Сил моих больше нет вас, обалдуев, учить! Ты-ся раз говорил: сперва мне обо всём доложить.

— Так тебе и звонили, а ты вне зоны был.

— Пошёл с глаз долой! Если что-то не так в газете или в этих... в блогах напишут — тебя, Кузёмка, первого выставлю отсюда с голой задницей!..

В стене плыли рыбы. Заворожённо, как ребёнок, смотрела она на них, водила по воздуху пальцем, повторяя контуры голов, плавников, хвостов. Почти

физически наслаждаясь, переводила взгляд с одной смальтовой мозаики на другую. Притянули рыбы и меня. Двигаясь поверх воды, поблёскивали они в стене. И уже не казался дичью рассказ Гори о плывущих по небу рыбах и пуляющих им вослед, сбившихся с пути беспилотниках.

14

Сова-Ulula очутилась в Москве не случайно. Не хотела — заставили. Задание было сложное и вряд ли выполнимое: почему второй день и медлила. Рядом с их будущей базой болтался Аромун, его гнутая, сильно состаренная фигура дважды мелькнула неподалёку. Ещё двое засланных пока не показывались. Приказ следовало выполнять. Вынув крохотное зеркальце, глянула: что за спиной? Вроде — спокойно. Здесь, близ музея-заповедника «Коломенское», было спрятано для неё снаряжение. Чуть подалее, на холме, в Дьяковом городище, около церкви Иоанна Предтечи, куда явиться нужно было в одежде монашки, ждала укороченная снайперская винтовка в футляре из-под гитары. Бесшумный полет, мгновенная реакция, острый слух, не оставлявшие жертве ни малейшей возможности для спасения, стали второй жизнью ночной хищницы. Любое мелкое движение — и Улула безошибочно определяла местонахождение жертвы, чтобы, как пазуром, пронзить её выстрелом. Иногда — спала наяву. Но при малейшем шуме, подобно сове и другим всамделишным птицам, опускала сперва одно и тут же другое нижнее веко. Она и позывной выбрала, потому что так же, как и болотная сова, получила от матери огромные, как циркулем, обведённые глаза с чёрными расширенными зрачками. Белёсый лицевой диск тоже был чисто совиным. Восковой нос точь-в-точь, как у пернатых. Взрослые в детстве шутили: не нос у тебя, а восковица, хор-р-рошенькое основание клюва! Глаза Улулы в орбитах были малоподвижны, угол зрения невелик. Правда, изъян этот с лихвой восполняла поворотливость шеи, всегда создававшей условия для хорошего обзора. С приближением ночи охотничий инстинкт Улулы возрастал. Однако сейчас был день, зрение было не таким острым. И всё же, сидя в «Хинкальной», где выпила лишь чаю с галетами, вдруг затылочным отверстием почувала опасность. Но оборачиваться не стала...

Белую Бабу из Сухого Брода, опять вернувшуюся со своим мужиком в «Хинкальную», Улула заприметила давно. На той сейчас был нормальный прикид, и Сове это внезапно понравилось. Но всё равно: баба могла узнать, а такое в их деле не допускалось. Улула мысленно ощупала малое шильце, спрятанное на дне монашьяй торбочки. Внезапно мысли её напряглись, а потом сбились в комок. Сова-Улула отчётливо поняла: шило, приготовленное совсем для других целей, надо, не теряя ни секунды, воткнуть в себя. «Раптус! Меланхолический взрыв!» Эти слова, сказанные врачом-хорватом два года на-